
НИТЬ
ПОД КОЖЕЙ
18+
ДЕНИС ПОЖИДАЕВ

Денис Пожидаев
Нить под кожей

https://litres.ru/74775458
SelfPub; 2026

Аннотация

После разорения родного селения Любава становится пленницей в далёкой северной усадьбе. Здесь не понимают её речи. Всё, что у неё осталось, помещается в старом мешке.

Она умеет прясть, ткать и шить. Работа помогает пережить день. Ночью приходится лежать без сна, прислушиваясь к шорохам за спиной.

Чужое жильё понемногу становится привычным. Любава уже знает, где взять воду, как сохранить огонь, какая доска скрипит под ногой. И всё чаще ловит себя на том, что называет это место домом.

Она всё ещё собирается бежать. Только теперь откладывает побег до завтра.

Содержание

Часть первая. Чужой порог 4
Глава 1. Внесённое 4
Глава 2. Когда тело не слушается 13
Глава 3. Сломанное и сохранённое 23
Глава 4. Каждой отдельно 34
Глава 5. Он ещё не вернулся 44
Глава 6. Чужая работа 57
Конец ознакомительного фрагмента. 67

Денис Пожидаев
Нить под кожей

Часть первая. Чужой порог

Глава 1. Внесённое

Их внесли в дом вместе: женщину — силой, кикимору — в мешке.

Мешок Любава несла сама. Его не отняли ни на том берегу, ни в лодке, ни здесь, у порога, и она держала его так, как держат последнее, чего ещё не отдали: под локтем, прижав к боку, пальцами в горловину. Кикимора чувствовала эти пальцы через два слоя ткани. За дорогу они стали другими. Дома Любава брала вещь не сразу — сначала разворачивала, глядела изнанку, потом решала, нести или бросить. Теперь хватала и не отпускала.

Порог оказался выше, чем у них. Мешок ударился о него нижним углом, и старый чехол, вшитый внутрь, коротко смялo. Кикимора сжалась вместе с ним, как сжимается узел, когда его тянут с двух концов, и переждала.

Дом её не узнал.

Это она поняла раньше всего остального. Всякий дом, ку-

да её когда-нибудь вносили, сперва молчал, а потом отвечал — щелью под дверью, сквозняком у пола, привычкой хозяйки ставить кадку всегда на одно и то же место. Здесь пахло дымом, мокрой шерстью, вяленой рыбой, сеном, которое пролежало лишние дни, и потом чужих людей. Запахов было много, ответа не было ни одного. Дерево над головой было чужим деревом. Земля под ногами Любавы была утоптана иначе — кикимора слышала это по шагу: твёрже, суше, без половиц, которые отзываются, когда на них наступают.

— Сюда, — сказал хозяин.

Он говорил на их языке. Слова у него выходили правильные, но ударения он ставил так, как кладут чужую вещь, — бережно и чуть не туда. За всю дорогу кикимора так и не привыкла к этому. Люди, которые жгли их двор, кричали по-своему, и от этого их было легче ненавидеть. Этот говорил понятно.

Любава не пошла сразу. Кикимора почувствовала, как дёрнулась горловина, — женщина огляделась, прежде чем сделать шаг, и только потом пошла туда, куда показывали. Дорога научила её и этому: сначала смотреть, где выход.

Выход был один — тот, через который их внесли. Дверь осталась открытой. Из неё тянуло водой, осенью и холодом, и по этому холоду кикимора нащупала, насколько дом длинен: сквозняк шёл долго, прежде чем упереться в дальнюю стену. Посреди всего горел очаг, длинный, обложенный камнями. Тепло от него шло неровно — то волной, то откатом, как от

живого.

Мешок поставили на приподнятый настил вдоль стены, и кикимора сразу услышала разницу: доски отозвались. Хоть что-то здесь отзывалось.

Она подождала, пока пальцы Любавы ослабнут на горловине, и только тогда шевельнулась.

Своего у неё в этом доме было немного. Чехол — старый, плотный, когда-то сшитый для игл и мотков, потом вшитый в мешок вместо подкладки, — и то, что лежало внутри чехла, в утолщении, которое Любава всегда принимала за давнюю грубую починку. Ещё были нитки самого мешка, его латки и старые швы: всё это кикимора годами прошивала собой, пока не стала чувствовать мешок, как человек чувствует собственную ладонь. Дальше мешка начиналось чужое.

Она выпустила из шва короткую нить — тонкую, серую, ничем не отличимую от тех, что торчали из потёртого края, — и дотянулась до того, на чём мешок стоял. Там лежала овчина. Старая, свалявшаяся, с колтунами, пропахшая кем-то, кто спал на ней прошлой зимой и ушёл. Шерсть была грубая. Кикимора вошла в неё, как входят в холодную воду: сначала кончиком, потом глубже, медленно, давая привыкнуть. Овчина не ответила. Но и не вытолкнула.

Для первого дня было довольно.

* * *

Работник был старый. Кикимора поняла это не по голосу и не по волосам, а по тому, как он брал верёвку: ладонью,

всей горстью, потому что пальцы на холоде гнулись плохо. Он вносил тюки один за другим и складывал у входа, ближе к двери, где земля была мокрая от натасканной грязи. Хозяин назвал его Ульфом. Ульф ответил что-то на своём, коротко, будто сплюнул, и кикимора не поняла ни слова.

Любава стояла у настила и держала в руках свою накидку, мокрую насквозь. Накидка капала. Женщина огляделась, куда бы её деть, и не нашла.

Ульф заметил. Подошёл, взял у неё накидку — Любава дёрнулась, но отдала — и показал рукой: не туда, к огню, где она уже нацелилась повесить, а дальше, на жердь между двумя столбами, в стороне от очага. Потом показал на огонь и помахал перед ним ладонью, сделав страшное лицо. Потом показал на жердь и кивнул.

Сгорит, значит. У огня сгорит, а там высохнет.

Любава повторила его жест — сначала ладонь у огня, потом жердь — и посмотрела вопросительно. Ульф кивнул ещё раз. Повесил накидку сам, неловко, двумя пальцами, которые не слушались. Край перекосился и лёг на землю. Ульф поглядел на него и махнул рукой.

Любава подошла и поправила. Ровно, так, чтобы край висел над землёй на ладонь. Кикимора отметила это с тем чувством, с каким замечала всякую правильную работу: так и надо.

Потом Ульф повёл женщину по дому, показывая руками. Здесь — настил, на нём спят. Здесь — земля, по ней ходят.

Очаг обходить: вдоль него, не через. Вот бочка с водой. Вот ковш. Вот это не трогать — он постучал костяшкой по сундуку у дальней стены и покачал головой. Кикимора следила по звукам и по тому, как натягивалась горловина мешка, когда Любава оглядывалась на него, — а она оглядывалась на него всё время, будто проверяла, не унесли ли.

Хозяин тем временем таскал вместе с Ульфом. Кикимору это удивило. Там, на их берегу, он не таскал — показывал, и другие таскали. Здесь он брал тюк, взваливал на плечо, нёс. Под тяжестью он чуть кренился влево, словно берёг что-то под ключицей, и, поставив ношу, тёр это место костяшками пальцев. Рубаха там была чинёная. Грубо, крупным стежком, другой ниткой — кикимора видела это даже отсюда, через горловину, в которую лился свет от очага. Такой починки она бы стыдилась.

— Где моё место? — спросила Любава.

Она спросила его, не Ульфа. Голос у неё был ровный, только чуть громче, чем надо, — так говорят люди, которые решили не бояться вслух.

Хозяин поставил тюк и выпрямился.

— Здесь, — он показал на настил, где стоял мешок. — Это твоё. Овчину Ульф даст другую, сухую.

— А ты где?

Он помолчал, глядя на неё.

— Там, — он кивнул в дальний конец дома, за очаг. — У восточной стены. Далеко.

Любава ничего не ответила. Кикимора почувствовала, как пальцы женщины легли на мешок, нащупали внутри твёрдый край чехла и сжали его. Так она делала дома, когда не знала, что сказать свекрови: брала в руки что-нибудь своё и держалась за него.

Кикимора вспомнила тогда, сама того не желая, другие пальцы на том же месте.

Это было на их берегу, в дыму, когда пленных уже согнали к лодкам, а их узлы вытряхивали на песок и перебирали. Мешок Любавы тоже взяли. Его вывернули бы, как остальные, но этот — хозяин — забрал его у своего человека и стал мять сам, неторопливо, будто покупал. Пальцы его дошли до чехла и остановились. Нажали. Кикимора, полумёртвая от дыма, от крика, от того, что дом горел и вместе с домом рвались все её нитки, сделала тогда единственное, что могла: стянула волокна навстречу. Не пустила. Так упирается шов, когда его пытаются распороть не с того конца.

Он подержал руку ещё немного. Дольше, чем нужно, чтобы понять, что внутри только тряпьё. Потом сказал своим что-то короткое и отдал мешок Любаве.

— Твоё, — сказал он ей тогда на её языке. — Неси сама.

Любава, кажется, сочла это милостью. Кикимора тогда решила так же. Теперь, в чужом доме, у чужого огня, она уже не была в этом уверена.

* * *

К вечеру натаскали воды и сварили кашу. Ульф ел у себя,

в западном углу, где у него было отдельное место за плетёной перегородкой. Любава ела на своём настиле, отвернувшись, и съела всё, до последней ложки, — дорога научила её и этому. Хозяин ел у огня, на лавке, и не смотрел на неё.

Потом он пошёл к себе.

Накидку свою — тяжёлую, шерстяную, с бахромой по краю — он, когда таскал тюки, бросил на настил рядом с мешком Любавы. Кикимора к тому времени уже освоилась в овчине и от скуки, от злости, от привычки трогать всё, что лежит рядом, запустила одну нитку в эту бахрому. Просто так. Узнать, из чего она. Шерсть была хорошая, плотная, крашеная чем-то горьким.

Теперь хозяин поднял накидку и понёс её на свой конец. Нитка потянулась следом.

Кикимора могла её отпустить. Ничего не стоило — дёрнуть, оборвать, и тогда кусочек её останется в бахроме, мёртвый, как обрезанный ноготь. Но она не отпустила. Она отпускала её понемногу, вытягивая из мешка, из старой латки на дне, — длинно, тонко, по краю настила, так что нитку не разглядел бы и человек, который знал, что искать. Дом разворачивался вдоль этой нитки: столб, ещё столб, тепло от очага слева, потом холоднее, потом снова тепло — от него, от его спины. Кикимора чувствовала теперь его шаги не ушами, а натяжением.

Он дошёл до своего места и бросил накидку на постель.

Постель была широкая, на том же настиле, только в во-

сточном конце, и застелена толще, чем у Любавы: шкуры, сверху шерстяное покрывало. Кикимора проползла ниткой по краю покрывала и сразу нашла то, что всегда ищут в чужой постели, — где лежат.

Лежали двое.

Не теперь — вообще. Покрывало было примято с двух сторон. Широкая вмятина с краю, ближе к проходу, — это был он: тяжесть мужская, плечо, бедро, всё знакомо, всё как у людей. А у стены была другая. Узкая. Неглубокая. Как будто там годами лежало что-то лёгкое, но лежало всегда на одном месте, никогда не ворочаясь. И шерсть там была холоднее, чем ей полагалось быть в натопленном доме, — не сырая, а именно холодная, как бывает трава под камнем.

Кикимора поправила складку — по привычке. Складка лежала криво, и рука у неё, если можно было назвать рукой то, чем она трогала, сама потянулась разгладить. Так она делала в каждом доме, где жила. Так она начинала жить в каждом доме: с одной поправленной складки, которую хозяйка утром найдёт и не поймёт, кто поправил.

Складка не поддалась.

Не так, как не поддаётся тяжёлая ткань, — та уступает хоть немного, хоть на волос. Эта не уступила вовсе. Под ней было что-то, и оно было тяжелее, чем могло быть то, что лежит под покрывалом и не видно. Кикимора потянула сильнее. И тогда это — с той стороны — потянуло в ответ. Медленно, без рывка, как сонный человек натягивает на се-

бя одеяло, которое у него пытаются забрать. Нитку прижало. Кикимора почувствовала, как её конец зажимают, будто между двумя пальцами, и держат. Просто держат. Не рвут.

Она выдернула нитку сама. Оборвала у самого покрывала и отползла назад, по краю настила, мимо столбов, мимо тепла от очага, к мешку, к чехлу, внутрь, в утолщение, в себя.

Обрывок остался там. Мёртвый. Она его больше не чувствовала.

Хозяин лёг. Кикимора слышала, как он устраивается: на бок, лицом к проходу, спиной к стене. Потом он сделал то, чего она не ждала. Протянул руку за спину и разгладил покрывало у стены — то самое место. Ладонью, неторопливо, от изголовья вниз. Так разглаживают постель для того, кто сейчас придёт.

Потом подвинулся к краю, чтобы у стены было просторнее.

На другом конце дома, на своём настиле, Любава сидела не раздеваясь, обхватив колени, и смотрела в его сторону. Кикимора чувствовала её через мешок: женщина не ложилась — сидела, будто ждала, что позовут. Не позвали.

Место у стены не было пустым. В этом доме уже кто-то жил — до них, давно, и по праву.

Глава 2. Когда тело не слушается

Наутро Любава попросила прясть.

Словами было не объяснить — она показала Ульфу пальцами в воздухе, как крутят веретено. Ульф понял сразу. Пошёл в западный угол, к корзине у ткацкого стана, и принёс ей кудель на прялке, веретено и горсть пряслиц на выбор. Кудель была серая, овечья, вычесанная наспех. Веретено — длинное, чужое, гладкое от чужих рук.

Кикимора смотрела, как Любава выбирает пряслице. Женщина взвесила на ладони одно, другое, третье — тяжёлое каменное, глиняное со щербиной, костяное, лёгкое — и взяла среднее. Дома она пряла на таком же. Кикимора помнила этот звук за много лет: сухое, частое потрескивание нити, когда веретено идёт вниз, и мягкий стук, когда его подхватывают. По этому звуку она когда-то узнавала, что в доме всё в порядке.

Здесь звук был не тот.

Пряслице на чужом веретене сидело слабо. Любава закручивала, веретено шло вниз, и на третьем обороте пряслице проскальзывало, нить провисала, и всё начиналось сначала. Женщина перекручивала, подбивала пряслице ладонью, пробовала снова. Ульф, проходя мимо с вёдрами, показал ей что-то — надо, мол, плюнуть на палец и смочить, — и ушёл. Она смочила. Пряслице проскальзывало мокрым.

Кикимора сидела в овчине, под самой рукой Любавы, и злилась на веретено. Плохая вещь, сделанная небрежно, всегда злила её больше, чем плохой человек: человека можно напугать, а вещь будет портить работу молча, сколько её ни пугай.

Тогда она взялась за кудель.

Это было проще, чем веретено. Шерсть на прялке сбилась комками: кто-то накручивал её второпях, не расправив. Кикимора вошла в неё с изнанки, с той стороны, что прилегала к древку прялки, и стала понемногу растаскивать комки изнутри — разбирать, расправлять, укладывать волокно к волокну, чтобы оно шло ровно. Человеческими пальцами так не сделаешь: пальцы видят только снаружи. Она видела изнутри.

Нить у Любавы пошла ровнее. Женщина этого не заметила — она всё воевала с пряслицем.

Хозяин подошёл ближе к полудню. Он вернулся откуда-то снаружи, с мокрыми плечами, и остановился над ней, не говоря ни слова. Смотрел, как веретено идёт вниз, как пряслице проскальзывает, как она в который раз подбивает его ладонью. Любава почувствовала его взгляд — кикимора поняла это по тому, как у неё напряглась спина, — но головы не подняла.

— Дай, — сказал он.

Любава не дала. Она перехватила веретено так, чтобы его нельзя было взять, и на мгновение кикимора подумала, что

сейчас он его вырвет. Тот, на их берегу, вырвал бы.

Он не стал. Присел рядом на корточки, достал из-за пояса нож — свой, короткий, с роговой рукоятью — и срезал с ремешка на поясе тонкую полоску кожи. Потом протянул руку ладонью вверх и ждал.

Любава посмотрела на полоску, потом на него. Потом отдала веретено.

Он обмотал полоской то место на стержне, где сидело пряслице, туго, в два оборота, надвинул пряслице сверху и подбил. Покрутил в пальцах. Пряслице больше не болталось. Он протянул веретено обратно.

— Крути, — сказал он. — Как у себя крутила. Я не умею.

И ушёл.

Любава закрутила. Веретено пошло вниз ровно, без рывка, и нить потрескивала так, как надо, — сухо и часто. Женщина остановила его, подхватила, намотала, закрутила снова. Кикимора слышала, как у неё выровнялось дыхание: медленнее, глубже. Работа, которая получается, успокаивала её лучше утешения — это кикимора знала давно.

Ульф, проходя обратно, остановился. Посмотрел на веретено, на полоску кожи под пряслицем, потом на дверь, в которую вышел хозяин. Сказал что-то на своём — не женщине, себе — и покачал головой. В голосе у него слышалось то, что бывает у человека, который давно знает соседскую собаку и вдруг видит, как она ест из чужих рук.

Кикимора не поняла ни слова. Но интонацию запомнила.

А кудель тем временем шла ровно, волокно к волокну, как разобранная изнутри. Никто этого не заметил. Ни Любава, ни Ульф, ни он. Кикимора сделала ещё немного, потом ещё — расправила дальние комки, до которых женщина доберётся только к вечеру. Если кто-нибудь посмотрит. Если хоть кто-нибудь посмотрит и поймёт, что так ровно сама собой шерсть не ложится.

Никто не посмотрел.

* * *

Ночью Любава уснула быстро. Весь день она пряла, носила воду, мыла котёл, и тело, которому полмесяца не давали спать по-человечески, провалилось в сон, едва она легла. Кикимора лежала под ней, в овчине, и слушала, как дышит женщина: сперва глубоко, с присвистом в конце, потом всё тише.

Потом дыхание изменилось.

Кикимора не сразу поняла как. Оно стало короче — как будто вдох упирался во что-то, не дойдя до дна. Любава лежала на спине, и это тоже было неправильно: она всегда засыпала на боку, лицом к стене, подтянув колени. Кикимора знала это так же, как знала, на какую сторону у неё стоптана обувь. А сейчас она лежала на спине, и руки вытянуты вдоль тела, и овчина под лопатками продавливалась всё глубже, хотя женщина не двигалась.

Тяжесть шла сверху. Кикимора чувствовала её через шерсть — так, как чувствуешь через пол, что за стеной, в

клети, на лавку сел грузный человек.

Она выглянула.

Над Любавой ничего не было. Покрывало лежало у неё на груди, обычное, шерстяное, серое. Только в одном месте, посредине груди, оно было вдавлено. Не складкой — ямой. Как будто там стояла чья-то ладонь, плоско, всей тяжестью. И ладони не было.

Любава попыталась повернуться.

Кикимора увидела это: дёрнулось плечо, пальцы правой руки поползли по овчине к краю, туда, где стоял мешок, — Любава даже во сне тянулась к мешку, — и остановились. Не потому, что передумали. Пальцы ещё шевелились, скребли шерсть, но рука не шла дальше, как будто её держали за запястье. Плечо поднялось на волос — и опустилось. Голова дёрнулась вбок. Губы раскрылись.

Звука не было. Был только тонкий свист — так свистит воздух сквозь щель, когда дверь прижата неплотно.

Кикимора стащила покрывало с её груди.

Это первое, что она сделала, не думая, — так она делала без счёта, когда спящий человек путался в тряпье: потянуть, освободить, поправить. Покрывало сползло на пол.

Яма осталась.

Теперь она была прямо на рубахе. Полотно на груди Любавы вдавилось, легло складками от одной точки, и под ним рёбра — кикимора видела это — не поднимались. Тяжесть была не в покрывале. Покрывало ей было не нужно. Она ле-

жала на самой Любаве и держала её.

Кикимора потянула женщину за рукав. Чтобы повернуть. Чтобы хоть что-то сдвинулось. Рукав натянулся, затрещал по шву — рука под ним была тяжёлой, как мокрая глина, и не шла. Кикимора потянула сильнее, и Любава захрипела — уже не свистом, а горлом, — и кикимора бросила рукав, испугавшись, что делает только хуже: тянет живое тело туда, куда его уже тянут.

Она не знала, что делать. Это было новое. За всю свою долгую, медленную жизнь в чужих домах кикимора всегда знала, что делать: где подтянуть, где ослабить, что спрятать, что испортить, чтобы досадить, и что починить, чтобы заметили. Всякая беда в доме была для неё бедой вещи. А здесь вещь была ни при чём. Беда сидела прямо на живом, и никакой ниткой её нельзя было подцепить.

Любава снова попыталась. Она собралась вся, от пальцев ног до горла: напряглась шея, выгнулась спина, вздулась на виске жила. Женщина хотела крикнуть. Кикимора знала это так же точно, как если бы слышала крик изнутри: тело было всё в этом крике, весь он был уже готов. Только наружу не выходило ничего.

Потом вышло.

Не крик — стон, низкий, страшный, будто из-под воды. Но громкий. Он ударил в стены, прокатился по дому до самой восточной стены и вернулся.

Из западного угла, из-за перегородки, отозвался Ульф —

что-то сонное, недовольное. С восточного конца не отозвался никто. А потом там скрипнул настил.

* * *

Хозяин шёл быстро, но не бегом. Кикимора слышала его шаги по земле: вдоль очага, мимо столбов, ближе. В одной руке у него ничего не было, в другой — тоже. Он не взял ни ножа, ни огня. Подошёл, встал над Любавой и посмотрел на неё сверху — на вдавленную рубаху, на открытый рот, на руку, застывшую на полпути к мешку.

Потом сел на край настила и взял её за плечо.

Ничего больше. Взял за плечо и повернул на бок — легко, как поворачивают ребёнка, который заснул неудобно. Голову её он придержал другой рукой, чтобы не стукнулась о доски.

Тяжесть ушла.

Кикимора почувствовала это сразу, всей овчиной: то, что давило сверху, сошло — не рывком, а будто вода ушла из горшка, когда в нём пробили дно. Сначала отпустило рёбра, потом плечо, потом рука Любавы, свободная, упала на шерсть и сама собой сжалась в кулак. И кикимора почувствовала ещё одно — так, краем, кончиком нитки, — что это ушло не вверх и не в стену. Оно ушло туда же, откуда пришёл он. На восток. К широкой постели. К узкой вмятине у стены.

Любава вдохнула.

Вдох был долгий, рваный, с хрипом на середине, как у человека, которого вытащили из воды. Потом второй. Потом она открыла глаза.

Хозяин не убрал руку с её плеча.

— Дыши, — сказал он. — Вот так. Ещё.

Она дышала. Пальцы её нашли его запястье и сжали — не оттолкнуть, удержаться. Так держатся за борт лодки.

— Что это было, — глухо сказала Любава в доски.

— Сон.

— Не сон.

— Тяжёлый сон, — согласился он. — После дороги бывает. Спи на боку. На спине не спи.

Ульф из своего угла спросил что-то, громче. Хозяин ответил ему, не оборачиваясь, одним коротким словом, и Ульф затих. Кикимора и этого слова не поняла. Но поняла, что оно значило «спи».

Хозяин посидел ещё. Потом поднял с пола покрывало, которое она, кикимора, стащила, отряхнул его и укрыл Любаву до плеча. Подоткнул край — плохо, неровно, по-мужски. Кикимора, не удержавшись, поправила, когда он отвернулся. Он не заметил.

— Ты всё время со мной так, — сказала вдруг Любава ему в спину. — Даёшь. Сухое. Веретено. Это.

Он остановился.

— Что это?

Она не ответила. Кикимора угадала, что она хотела сказать, — по тому, как сжалась её рука под покрывалом: «Даёшь — а я потом что тебе должна?» Но Любава не сказала. Может быть, побоялась ответа. Может быть, побоялась, что

не будет никакого ответа.

— Спи, — сказал он снова, тем же тоном, каким говорил Ульфу. — Я рядом.

Он не был рядом. Он ушёл к себе, через весь дом, и кикимора слышала, как он ложится: на бок, лицом к проходу.

* * *

До утра Любава больше не спала. Лежала на боку, как велено, с открытыми глазами, и смотрела в темноту, на тусклый жар очага. Утром у неё на груди, под рубахой, проступило красное пятно, широкое, с ладонь, — как от удара, только без синяка по краям. Она нашла его, когда умывалась, и долго трогала пальцами, будто не верила. Потом опустила рубаху и пошла за водой.

А кикимора всё думала о том, что видела ночью. О том, что было после.

Хозяин ушёл к себе. И прежде чем лечь, — она слышала это кончиком той нитки, которую успела протянуть днём по краю настила, слабой, едва живой, — он протянул руку за спину и разгладил покрывало у стены. Медленно, от изголовья вниз. Как вчера.

Той же рукой, которой повернул Любаву.

Здесь было одно хозяйство: в нём была и рука, и то, от чего рука спасала. Кикимора привыкла к домам, где беда приходила снаружи: зима, мор, пожар, злая свекровь. Здесь беда жила у хозяина в постели, и он сам стелил ей место.

И ещё одно. Если тяжесть ушла туда, к нему, — значит,

ночью она снова придёт. Она знает дорогу. Она знает, где лежит Любава, на каком настиле, под какой овчиной.

Под какой овчиной — значит, и где лежит кикимора.

Глава 3. Сломанное и сохранённое

На третий день Любава разобрала мешок.

До того она его не открывала — только трогала через ткань, проверяла, на месте ли. Кикимора понимала почему. Пока мешок не разобран, всё, что было дома, оставалось там, внутри, сложенное так, как складывали дома, — свёрнутое её руками в последнее утро, когда она ещё не знала, что утро последнее. Разобрать — значит признать, что вещи приехали. Что разворачивать их придётся здесь.

Она разобрала его днём, когда хозяин ушёл к хлеву, а Ульф — к берегу. Села на настил, поставила мешок между колен и стала вынимать по одной. Кикимора смотрела из овчины.

Лоскут от старой рубахи, сложенный вчетверо, — тот, что Любава берегла на заплаты, потому что полотно было хорошее, материнское. Моток своей нитки, некрашеной, крепкой, ссученной ещё дома из льна, который она сама мяла, трепала и чесала, — моток был небольшой, с кулак. Костяная игла, рабочая. Гребень с двумя выломанными зубьями. Кусок воска, обёрнутый в тряпицу. Пустой берестяной коробок из-под соли. Больше ничего. Всё, что у неё теперь было своего, уместилось на коленях.

Любава разложила вещи рядом, на овчине, в ряд, и пересчитала. Кикимора слышала, как шевелятся её губы: раз,

два, три. Потом она сунула руку в мешок ещё раз — проверить, не осталось ли на дне, — и пальцы наткнулись на чехол.

Чехол был вшит в мешок давно, лет пять назад: старый мешок тогда протёрся до дыр, Любава сшила новый, а материнский чехол, ещё целый, пришила к нему изнутри — чтобы было куда класть иглы, чтобы не кололи руку. Сама кикимора тогда очень испугалась: её трогали, перешивали, протыкали. Но шов вышел хороший, и она смирилась.

Пальцы Любавы прошли по чехлу, нащупали утолщение — твёрдое, плотное, с её, кикиморы, сердцевиной внутри — и, как всегда, пропустили. Старая починка. Комок. Никогда не мешал.

А потом пальцы нашли то, чего там не было, когда она складывала мешок дома.

Кикимора почувствовала, как Любава замерла. Рука в мешке остановилась. Потом медленно, двумя пальцами, как берут что-то, чего боятся сломать, вытащила из кармашка чехла маленькую жёлтую костяную иглу.

Иглу с треснувшим ушком.

Любава держала её на ладони и не дышала. Кикимора видела её лицо: оно стало таким, каким бывало дома, когда Любава была девчонкой и мать заставляла её распарывать неровный шов, — упрямое, растерянное и очень молодое.

* * *

Это была материнская игла. Ей было лет больше, чем самой Любаве. Ушко у неё треснуло ещё при матери, и мать всё

равно шила ею — тонкой ниткой, осторожно, — пока трещина не разошлась так, что нитка стала перетираться. Тогда она отдала иглу дочери: учись. Шить ею было уже нельзя, но можно было учиться держать. И Любава училась. Кикимора помнила это — девчонка с иглой, которая уже не держала нитку, протыкающая тряпку туда-обратно, туда-обратно, а мать над ней: сперва посмотри, разверни, проверь изнанку, потом тяни. Изнанку проверь.

На их берегу, в тот день, когда горел двор, игла выпала. Любава схватила мешок, а вещи из него сыпались, она хватала их обратно, но иглу затоптали, и её отнесло в сор у порога, и Любава видела это, когда её уже тащили к воде. Она выкрикнула что-то. Кикимора не помнила, что. Может быть, не про иглу. Но смотрела Любава туда, на сор у порога.

А кикимора тогда была ещё в доме — в последних нитках, которые не успели сгореть. Она подобрала иглу: игла лежала рядом и была из её дома. Кикимора сунула её в кармашек чехла за мгновение до того, как дом упал.

Больше двух недель игла лежала там. Любава ни разу не открывала мешок.

— Я её там оставила, — сказала Любава вслух.

Она сказала это тихо, глядя на иглу, ни к кому не обращаясь. Но кикимора знала, к кому. Дома Любава тоже так говорила — в пустую избу, сердито, когда находила работу распоротой или кудель спутанной: «Опять ты». Как будто не верила, что ей ответят, но говорила на всякий случай.

Кикимора ответила.

Она вылезла из овчины. Это было трудно — показаться. Кикимора не любила показываться, это стоило ей больше, чем любая работа: собрать себя в одно место, в одно тело, выйти туда, где на неё смотрят. Но тут было нельзя иначе. Она собрала себя из кудели, из серой шерсти, из чёрных ниток, которые таскала с собой столько лет, что они стали ею, — маленькую, с локоть, тонкую, как веретено, с головой, как тугой клубок, и длинными пальцами. Вылезла на край овчины и села возле мешка.

— В сор уронила, — сказала кикимора.

Голос у неё был такой, каким он был всегда: сухой, будто нитку протаскивают сквозь плотное полотно. Любава вздрогнула. Не от страха — она видела кикимору и раньше, раза три за всю жизнь, — от того, что ответили.

Она посмотрела на кикимору. Кикимора смотрела на иглу.

— Ты подняла?

— На неё наступали.

Любава молчала. Потом закрыла пальцем треснувшее ушко, будто прятала изъян.

— Она всё равно не шьёт.

— Знаю.

— Тогда зачем?

Кикимора потянула край овчины, на которой лежала игла, чтобы та не скатилась в щель между досками. Это было

проще, чем отвечать.

— Ты бы опять искала, — сказала она наконец.

— Я думала, она сгорела.

— Потом всё равно искала бы.

* * *

Любава долго ничего не говорила. Держала иглу. Кикимора ждала.

Она ждала, сама не зная чего. Не благодарности даже. Благодарность — это было слово, которое люди говорили друг другу, а ей не говорили никогда: хорошую починку приписывали хозяйке, плохую — ей. Она привыкла. Но тут было другое. Она вынесла иглу из огня. Она больше двух недель держала её в кармашке, в темноте, среди дыма, моря и чужих рук. Это было дело. Настоящее. За такое дело полагалось — хоть что-нибудь.

— Он её дважды выбрасывал, — сказала Любава.

Кикимора не сразу поняла, о ком.

— Говорил: что ты копишь, как старуха. Ломаное держишь. Новую купим. А я доставала. Один раз из золы. — Любава повертела иглу. — Он не злой был. Просто не понимал, зачем.

— Я видела, — сказала кикимора.

Она видела. Она тогда ночью вытащила иглу из золы раньше Любавы и положила на видное место — на лавку, на самый край. Любава утром нашла и решила, что сама не заметила. Кикимора не стала её разубеждать. Мужу Любавы она

в ту ночь спутала все сети. Не из-за иглы — просто так. Он ей не нравился.

— Ты и тогда?

Кикимора не ответила.

Любава положила иглу на колено и посмотрела на кикимору прямо, по-деловому.

— Она мне не для дела, — сказала она. — Ты понимаешь? Не для шитья. Она — чтоб была.

Кикимора не понимала. Вещь, которая не работает, — это вещь, которую не жалко. Так было всегда. Сломанное веретено идёт в огонь, порванную сеть распускают на нитки, старую рубаху — на тряпки. Кикимора знала цену всякой вещи — по тому, сколько в ней ещё работы. В этой игле работы не было совсем.

И всё-таки она её несла.

— Она моя была, — сказала кикимора. Сказала не то, что хотела. — Из моего дома.

— Из моего, — сказала Любава.

Они помолчали.

— Теперь, — сказала кикимора, — здесь ты при мне. Я тебя знаю. Я лучше знаю, где тебе что надо. Ты меня слушай.

Она сказала это и сама услышала, как это прозвучало. Не так, как хотела. Хотела — «я сберегу». Вышло — «ты моя».

Любава это тоже услышала.

— Иглу — спасибо, — сказала она. Сказала ровно, по слову, как кладут камни в стенку. — А меня не трогай. Слы-

шишь? Меня не трогай.

Она взяла иглу, завернула её в тряпицу вместе с воском и положила обратно в мешок — не в кармашек чехла, а отдельно, на самое дно, к своему лоскуту. Будто не хотела больше, чтобы игла лежала там, куда её положили без спроса. Потом сложила остальное. Затянула горловину.

Кикимора могла бы забрать иглу. Ей ничего не стоило: ночью, пока Любава спит, вынуть со дна мешка, из тряпицы, и спрятать так, что та не нашла бы её никогда. Это было бы справедливо. Ей не сказали «спасибо» так, как она заслужила, — ей сказали «не трогай».

Она не забрала. Она и сама не знала почему. Может быть, потому, что «спасибо» всё-таки сказали. Первый раз за всю жизнь.

Она ушла в овчину и до вечера не показывалась.

Вернувшийся к тому времени хозяин один раз поднял голову, когда Любава сказала «не трогай», — громко сказала, громче, чем нужно. Посмотрел на её настил. Там ничего не было — женщина с мешком на коленях. Он отвернулся и снова занялся упряжью, которую чинил у себя.

* * *

Наутро пришла Инга.

Кикимора сначала её услышала: голос снаружи, громкий, весёлый, женский. Потом увидела — когда та вошла и встала в двери, заслонив свет. Высокая, крепкая, лет на десять старше Любавы, в тёмном платье, сколотом на плечах, с большим

свёртком под мышкой. Она вошла так, как входят к соседям, которых давно знают: не остановилась на пороге, не огляделась. Сразу пошла к очагу, сразу нашла ковш у бочки, напилась и повесила ковш на место — на тот самый колышек, где он и висел.

Кикимору это задело больше всего. Эта знала, где висит ковш. Она, кикимора, за три дня ещё не выучила, где что висит, а эта знала.

— Торстейн! — крикнула она в глубину дома, ещё вешая ковш.

Хозяин вышел к ней навстречу. Так кикимора узнала, как его зовут. Ульф говорил ему что-то другое, короткое, — как говорят «хозяин». А эта звала по имени, как зовут соседа, с которым вместе росли. Торстейн. Имя было твёрдое и тяжёлое, как камень, который кладут на крышку кадки, чтобы не сдвинули.

Они поговорили — по-своему, быстро, со смехом. Инга что-то спросила, кивнув в сторону Любавы, хозяин ответил. Инга посмотрела на Любаву долго, внимательно, сверху вниз и обратно, как смотрят на лошадь, которую не покупают, но хотят понять, хороша ли. Потом сказала хозяину ещё что-то, и он засмеялся — и тут кикимора заметила. Инга сказала что-то, что, видно, было шуткой, старой, давней, из тех, которые двое знакомых повторяют годами. И ждала ответа. А он засмеялся — но ответил не то. Кикимора поняла это не по словам, по лицу Инги. Лицо у неё на мгновение стало

пустым, как у человека, который окликнул своего, а тот не обернулся. Потом прошло.

Свёрток был полотном. Большой кусок шерстяной ткани, тёмно-синей, хорошей, плотной, — у края кромка разлохматилась, нитки основы вылезли и висели бахромой на целую ладонь. Инга развернула полотно на лавке и показала хозяину: вот, мол. Хозяин покачал головой и кивнул на Любаву.

Инга подняла брови. Потом пожала плечами и пошла к Любаве с полотном.

Любава этого не ждала. Она сидела у прялки и сначала даже не встала. Инга положила полотно перед ней, показала на разлохмаченный край и сказала что-то — вопрос. Любава не поняла. Инга повторила медленнее, громче, как говорят с глухими. Любава не поняла снова.

Тогда Любава взяла край полотна в руки.

Кикимора знала это движение. Любава развернула полотно изнанкой к себе. Посмотрела. Пощупала нитки основы, растянула между пальцами, проверяя, крепкие ли. Перевернула обратно. И только тогда кивнула.

Инга засмеялась — так смеются, когда видят своего. Она села рядом, на край настила, и стала смотреть.

Любава закрепляла кромку так, как закрепляла её мать: не подшивала, а заплетала свободные концы основы между собой, по три, туго, косичкой, и закрепляла узлом — получалась ровная плотная бахрома, которая уже не расползётся. Здесь, видно, так не делали. Инга сначала смотрела молча,

потом взяла другой край и попробовала повторить. Сбилась. Любава, не говоря ни слова, взяла её пальцы своими и показала: так, потом так, потом сюда. Инга повторила. Получилось.

Инга сказала что-то короткое, довольное — так говорят «вот, вот так» — и толкнула Любаву плечом.

Любава кивнула, не понимая слов.

Кикимора наблюдала с края овчины, через щель в настиле, через собственную нитку, которую протянула под доской почти до самой лавки. Она смотрела на руки — четыре руки на одном полотне, две белые, широкие, в мозолях от вёсел, две тонкие, с обломанными ногтями. Руки понимали друг друга. Языка у них общего не было, а руки понимали.

Ей это не понравилось. Сама не знала чем.

Пока Любава работала, у очага говорили — хозяин, Ульф и Инга, когда отрывалась от полотна. Кикимора не понимала слов, но понимала руки: Ульф показывал на верёвки у стены, на пустые мешки, потом на север, потом поднимал два пальца. Инга кивала и тоже показывала на север, потом на себя, потом на воду. Хозяин слушал, говорил мало. Речь шла о каком-то грузе, о мешках, о дороге. Ульф несколько раз повторял одно и то же слово, и кикимора запомнила его по звуку, хотя не знала, что оно значит. Потом узнала: «сено».

Перед уходом Инга сделала то, ради чего, наверное, и сидела так долго. Она подвела Любаву к двери, вывела наружу — кикимора видела это через раскрытую дверь, из глубины

дома, — и показала рукой. На север, потом чуть на восток, туда, где за оградой начиналась тропа и уходила в перелесок. Показала на себя. Потом на тропу. Потом пошевелила двумя пальцами — шаги — и сдвинула ладонь по небу совсем чуть-чуть, на ширину собственной руки. Недалеко. Пока солнце сдвинется на ладонь.

— Инга, — сказала она и ткнула себя в грудь.

— Любава, — сказала Любава.

Инга повторила, неправильно, с ударением не туда. Любава поправила. Инга повторила снова — лучше. Засмеялась, хлопнула Любаву по плечу и ушла по той самой тропе, широким шагом, не оглядываясь, с пустыми руками: полотно она оставила. Кромка была закреплена только с одной стороны. За второй, видно, она собиралась прийти.

Любава стояла в двери, пока та не скрылась за деревьями.

Потом вернулась на настил. Села. Взяла мешок на колени. И кикимора почувствовала, как пальцы Любавы снова пошли по вещам через ткань: лоскут, моток, иглы в тряпице, гребень, коробок. Раз, два, три, четыре, пять. И ещё раз. И ещё.

Кикимора знала этот счёт. Так считают не от тоски. Так считают перед дорогой.

Глава 4. Каждой отдельно

Мешки для сена были гнилые.

Ульф притащил их из кладовой целую охапку, вывалил у двери и показал Любаве: вот, чинить. Мешки пролежали год в сырости, у двух вывалилось дно, у остальных разошлись углы, и всё пахло мышами. Ульф показал на север, на два пальца, на мешки, — кикимора уже узнавала этот разговор: поездка, сено, двое суток. Не сейчас. Потом. Когда будет погода.

Любава села чинить. Ульф дал ей толстую иглу из рога и моток грубой пеньки и ушёл к хлеву.

Она прошила первый мешок по-своему, и кикимора одобряла: углы Любава не просто стягивала, а подкладывала изнутри лоскут, сложенный вдвое, и прошивала через него, крест-накрест. Так угол держал. Так угол не расползётся, когда в мешок набьют сено и закинут на плечо. Это было дольше. Это съедало пеньку.

Ульф вернулся к полудню, посмотрел, сколько сделано, — два мешка из девяти — и сказал что-то сердито. Потом взял третий мешок и показал, как надо: стянуть угол пенькой, перехлестнуть, завязать. Раз — и готово. Пальцы у него слушались плохо, узел вышел кривой, но угол стянулся.

Любава посмотрела на его угол. Потом на свой.

— У тебя порвётся, — сказала она по-своему.

Ульф не понял. Махнул рукой: быстрее, быстрее, вот так.

Любава взяла его мешок, развязала его узел и начала угол заново — со своим лоскутом.

Ульф покраснел. Сказал ещё что-то, громче. Кикимора по голосу поняла: работник не злился по-настоящему, ему было обидно. Он показал хорошее, простое, а пленница взяла и распустила.

Хозяин стоял у очага. Он всё видел — кикимора не сомневалась, — но не вмешивался. Ждал. Любава это почувствовала: кикимора заметила, как у неё на мгновение застыли руки. Потом женщина встала, подошла к нему и остановилась на расстоянии вытянутой руки — не ближе.

— Можно я по-своему?

Кикимора слышала, чего ей стоило это «можно». Дома Любава ни у кого не спрашивала, как ей шить. Последние полгода перед набегом — ни у кого, даже у свекрови. Этим она и гордилась. А теперь стояла перед чужим мужчиной и спрашивала разрешения прошить мешок для его сена.

Хозяин посмотрел на мешки, на её угол, на угол Ульфа.

— А в чём разница?

— Его порвётся. Мой — нет.

— Долго.

— Зато один раз.

Он кивнул. Повернулся к Ульфу и сказал ему по-своему коротко — кикимора разобрала только имя. Ульф пожал плечами, бросил мешок и ушёл. Обида у него, видно, про-

шла быстро: он ушёл насвистывая.

— Делай как знаешь, — сказал хозяин Любаве. — Это твоя работа.

Он не взял её мешок посмотреть, не потрогал угол. Ушёл, оставив её с девятью мешками и её способом.

Любава вернулась на место. Села. Взяла иглу.

Любава шила — и злилась. Не на Ульфа и не на хозяина — похоже, на себя. Стежки пошли резче, крупнее, и на четвёртом мешке она так дёрнула пеньку, что та лопнула. Любава посмотрела на лопнувшую нитку и остановилась. Долго сидела не шевелясь. Кикимора догадывалась — сама думала бы о том же: о том, что ей приятно. Что её спросили «в чём разница», выслушали и дали. Что мешки для сена будут прошиты её швом. Что ей было приятно — и что ей не должно было быть приятно.

Потом она связала пеньку и продолжила. Ровнее.

К вечеру было готово семь мешков. Любава сидела на низкой скамье так долго, что, когда попыталась подняться, ноги не послушались: она качнулась и опёрлась о столб.

Хозяин проходил мимо с охапкой дров. Бросил дрова у очага, подошёл и подал ей руку.

— Встань, — сказал он. — Ноги затекли. Встань, пройдись.

Он сказал это просто, по-домашнему, тем голосом, каким говорят «ешь» или «спи». Но кикимора заметила, что Любава встала раньше, чем взяла его руку. Руку она так и не взяла.

Встала сама, опираясь на столб, — но встала сразу, на первое слово, будто тело услышало его прежде, чем она решила.

И ещё кикимора заметила другое.

Она в тот день держала нитку под настилом — до самого восточного конца, тонкую, едва живую, — и через эту нитку чувствовала постель хозяина. Узкую вмятину у стены. Днём в ней ничего не было: днём там было просто холодное место.

Когда он сказал «встань», вмятина шевельнулась.

Не сильно. Как шевелится спящий, когда слышит сквозь сон знакомый голос: поднимает голову, прислушивается — его? не его? — и, поняв, что звали не его, опускает обратно.

* * *

Потом хозяин пошёл загонять на ночь корову — серую, старую, с обломанным рогом, ту, что не давалась Ульфу и норовила прижать к стене. Взял с крюка у двери недоуздок.

Недоуздок был плетёный, из льняной верёвки, и конец у него был размочаленный: распушился, разлохматился, рассыпался прядями, — его давно пора было подрезать. Кикимора увидела этот конец ещё в первый день. Он раздражал её, как раздражает хозяйку грязное пятно на столешнице, которое никто, кроме неё, не замечает. Три ночи она терпела. Прошлой ночью не вытерпела.

Она не подрезала — подрезать было нечем. Она заплела. Разобрала распушённые пряди, уложила, свила заново и закрепила конец тугой обмоткой из собственной нитки — серой, той самой, из мешка. Получилось аккуратно. Так, как

никто в этом доме не сделал бы: Ульф не смог бы пальцами, хозяин не стал бы, а Любава в ту ночь спала. Днём недоуздок провисел на крюке в тени, и никто на него не взглянул.

Теперь хозяин снял его и остановился.

Повертел конец в пальцах. Поднёс ближе к свету, к двери. Посмотрел на Ульфа — Ульф как раз проходил с вёдрами. Сказал ему что-то и показал на конец. Ульф покачал головой и показал свои пальцы — кривые, распухшие. Не я.

Хозяин посмотрел на Любаву. Любава стояла у столба, спиной к нему, растирала затёкшие ноги и даже не обернулась.

Тогда он посмотрел на настил. На её место. На мешок, стоящий на овчине.

Кикимора, которая всё это время держалась за конец недоуздка своей ниткой, обмоткой, всем тем, что вложила в эту маленькую работу, почувствовала его взгляд. Его взгляд был не на мешке — на ней. Как будто он видел сквозь ткань и овчину прямо её.

— Хорошо сделано, — сказал он.

Сказал на языке Любавы. Не громко. Не Любаве — Любава у столба не повернулась, она не поняла, к кому это. Он сказал это мешку.

И потом добавил — так же тихо:

— Спасибо, хозяйка.

Он повесил недоуздок на плечо и пошёл к хлеву. Конец, заплетённый кикиморой, покачивался у него на груди. Ки-

кимора держала его ниткой, пока хватало длины, — до двери, через порог, наружу, — и только там отпустила.

Хозяйка.

Её никто никогда так не называл. Ни в одном доме, где она жила. Хозяйкой называли женщину, которая спала на печной лавке, ругала невестку и пересчитывала горшки. Кикимору называли — если называли вообще — по-другому: та, что путает, та, что пакостит, та, кого надо задобрить, чтобы не пакостила. От неё прятали кудель. Её поминали со злостью, когда что-нибудь терялось.

А этот сказал «спасибо». И «хозяйка».

Кикимора до ночи не трогала ничего. Лежала в овчине и слушала, как это слово лежит в ней, — не проходит, не тускнеет, а лежит, как тёплый камень, который положили за пазуху.

Любава так и не узнала, к кому он обращался. Кикимора ей не сказала.

Загнав корову, хозяин вернулся и повесил недоуздок на тот же крюк, заплетённым концом наружу, — чтобы было видно. Кикимора заметила. Потом он пошёл к себе. Лёг. И перед тем, как лечь, — она проверила, нарочно протянула нитку, — разгладил место у стены.

* * *

Ночью Любава видела дом.

Женщина спала на боку, как велели, лицом к стене, подтянув колени, — и дышала спокойно, ровно, без того при-

свиста, с каким дышала в первые ночи. Кикимора даже успокоилась. Решила, что та, у стены, сегодня не придёт. Что, может быть, хозяин запретил ей. Что, может быть, он может запретить.

Потом Любава улыбнулась во сне.

Кикимора видела её лицо в отсвете очага: губы раздвинулись, разгладился лоб, пропала морщинка между бровей, которая не уходила с того дня, как горел двор. Так она улыбалась дома. Не часто. По утрам, когда всё получалось.

Потом правая рука Любавы шевельнулась на овчине. Пальцы сложились, будто держали ковш. Рука поднялась — плавно, медленно, — зачерпнула из пустоты, перенесла, опустила. Поставила невидимую миску. Вытерла пальцы о бедро. Так она делала каждый вечер в своём доме: черпала из котла, ставила на стол, вытирала руки о передник. Кикимора видела это без счёта. Она знала даже, на каком месте у Любавы на переднике было вытертое пятно.

Губы зашевелились.

— Ждан, — сказала Любава во сне.

Голос был тихий, сонный, но это был её голос — тот, домашний, чуть сердитый, каким она звала мужа к столу. Кикимора помнила, как этот голос звучал из сеней на двор, где Ждан возился с сетями.

— Ждан, иди ешь. Пока горячее. Я дважды греть не стану.

И тогда кикимора увидела руку.

Рука лежала у Любавы на виске. Длинная, узкая, тёмная

— не чёрная, а цвета мокрой золы, — с пальцами без ногтей, слишком длинными, с лишним суставом. Она лежала легко, не давила. Пальцы шевелились. Медленно, мягко, как шевелятся пальцы пряхи, когда она тянет из кудели нить: ухватить — потянуть — ухватить снова. Только тянули они не шерсть.

Они тянули из Любавы это. Ковш. Миску. Передник. «Иди ешь». Тянули ровно, бережно, как хорошая пряха тянет хорошую шерсть, — не обрывая.

Кикимора ударила.

Руки у неё здесь не было, только нитки в овчине. Она выбросила одну нитку вверх, к руке, и хлестнула ею по тёмным пальцам. Нитка прошла сквозь — почти сквозь: на самом излёте задела что-то, какую-то границу, плотную, холодную, как поверхность воды в ведре.

И в этот миг она услышала ту.

Не ушами. Слов не было. Было так, как бывает, когда в темноте с тобой сталкивается человек и вы оба замираете, и ты чувствуешь — по тому, как он замер, — что он хочет: чтобы ты ушла. Только сильнее. Только яснее. Как если бы это «уйди» было толчком в грудь.

Прочь.

И ещё одно, под этим, глубже, холоднее: это лишняя. Эту — убрать.

Кикимора толкнула в ответ — всем, что у неё было, одним натяжением:

Моя.

Рука помедлила. Пальцы перестали тянуть. Кикиморе показалось — может быть, только показалось, — что там, над Любавой, кто-то наклонил голову, разглядывая её. Её, кикимору. Как разглядывают паука, которого не ожидали найти в собственной постели.

Потом рука ушла — не торопясь, сомкнув пальцы, будто что-то в них держала. Ушла в темноту, на восток, к широкой постели. Кикимора не видела, куда именно. Но знала.

Мара. Это слово кикимора слышала от старых баб: так зовут ту, что приходит ночью и садится спящим на грудь.

Любава повернулась на спину — сама, свободно — и вздохнула. Улыбка у неё сошла. Морщинка между бровей вернулась.

* * *

Утром она долго сидела на настиле, прежде чем встать.

— Мне дом снился, — сказала она вслух, в пустоту, как говорила иногда кикиморе дома: не ожидая ответа. — Ждана звала есть. Он, как всегда, не шёл.

Помолчала.

— Сколько лет его так звала. Всё не шёл. Вечно у него сети.

Она сказала это ровно, без слёз. Кикимора не ответила.

А сама думала про руку. Про то, как пальцы тянули из спящей женщины её вечер, её ковш, её «иди ешь», — тянули бережно, не обрывая. Так не берут, чтобы выбросить. Так

берут, чтобы сохранить. Чтобы потом спрясть из этого что-нибудь своё.

Кикимора не знала, что та собирается из этого прясть. Но она понимала в пряже больше, чем кто-либо в этом доме, и знала одно: никто не тянет нить просто так.

Глава 5. Он ещё не вернулся

Хозяин ушёл с рассветом.

Сказал Ульфу что-то — кикимора по жестам поняла только, что он идёт не к Инге, а дальше, по той же тропе, и что вернётся к вечеру. Любаве сказал на её языке:

— К ночи буду. Ешьте без меня.

И ушёл, закинув на плечо пустой мешок.

Любава постояла в двери, пока он не скрылся за оградой. Потом закрыла дверь — не до конца, оставив щель для света, — и вернулась в дом. Кикимора смотрела, как она идёт. Шаг был другой. Свободнее. Плечи опустились, будто с них сняли коромысло.

Ульф возился снаружи, у хлева: чистил, таскал, ругался на серую корову. Его голос доносился через стену глухо, как из бочки.

В доме остались они трое.

* * *

Любава начала с того, что пересчитала вещи. Кикимора уже знала этот счёт и не удивилась. Удивилась другому: женщина подошла к полке у очага, где лежала вяленая рыба, взяла одну — небольшую, плоскую, жёсткую, как подошва, — завернула в тряпицу и сунула в мешок. На самое дно, под лоскут.

Потом подумала и взяла ещё одну.

Две рыбы. Немного. Столько не хватятся.

Кикимора лежала в овчине и чувствовала, как рыба ложится в мешок, — сухая, солёная, чужая. Любава затянула горловину и посидела, положив на мешок обе ладони. Лицо у неё было такое, как дома, когда она сводила счёт с соседкой за полотно: сосредоточенное, сердитое, довольное.

Две рыбы. Начало.

Потом она пошла к стану — ткать. Стан стоял у западной стены, прислонённый к ней верхним навоем; основа свисала сверху, и внизу её оттягивали глиняные грузила, по пучку нитей на каждое. Ткать на таком приходилось стоя. Работы там было надолго: Ульф показал ей вчера, чем заправлена основа, и она теперь продолжала чужое полотно, примериваясь к чужой руке. Ткала она хорошо. Кикимора слушала, как постукивает деревянная лопатка, прибивая уток кверху, — ровно, раз за разом, — и думала, что этот звук ей нравится. Здесь, в чужом доме, это был первый звук, который ей нравился.

Потом лопатка замолчала.

Стук оборвался на середине, и стало тихо — только огонь, только Ульф за стеной. Она выглянула.

Любава стояла у стана. Руки у неё были подняты к голове. Она переплетала косу.

Коса была заплетена туго, с утра, — Любава её распустила и заплетала заново. Быстро, ловко, пальцами, привыкшими к нитям. Пригладила волосы ладонями от лба к затылку.

Взяла с жерди кусок чистого полотна, сложила углом и повязала, как платок, — как повязывала дома, когда ждала мужа с реки. Оглядела себя, одёрнула рубаху, разгладила складку на животе.

Кикимора не поняла. Она смотрела, как Любава идёт к очагу, берёт с полки миску — большую, деревянную, его миску, — протирает её краем рубахи и ставит на лавку у огня. На его место. Пододвигает поближе к жару, чтобы не остывала.

Миска была пустая. Каши не было. Хозяин сказал: «Ешьте без меня».

Кикимора хотела было окликнуть её — что ты делаешь, дура, — и тут обнаружила, что сама в это время держит его накидку.

Накидка висела на жерди у двери, мокрая с утра, с той самой бахромой. Кикимора не помнила, как оказалась там. Не помнила, чтобы решала туда идти. Но она была там — целиком, в бахроме, всеми нитками, — и разглаживала накидку изнутри. Расправляла складки. Выравнивала бахрому, прядь к пряди, так, чтобы висела ровно, как на хорошей хозяйке. Чтобы, когда он войдёт, первое, что увидит, — его накидка, висит ровно, сухая уже почти, ждёт.

Она остановилась.

Это была её работа — она узнавала каждое своё движение, каждый стежок натяжения. Но она её не начинала. Она её застала, как застаёт хозяйка в своей избе чужую бабу у своего

котла. Только баба эта была она сама.

Тут она услышала шаги.

* * *

Шаги шли снаружи, вдоль южной стены, со стороны тропы. Тяжёлые, мужские, неровные — левая нога ступала чуть мягче, чем правая, как будто он берёг что-то слева. Кикимора узнала их сразу. Она знала их уже который день: так он ходил по дому, так он шёл через двор к хлеву, так он ступал по доскам настила. Шаг, шаг, шаг — ближе к двери. Ближе.

Кикимора отпустила накидку. Не потому что застыдилась — потому что он сейчас войдёт и увидит, как она её гладит. Она не хотела, чтобы видел. Хотела. Не хотела. Она стянула себя с бахромы в одну нитку, тонкую, незаметную, и замерла.

Шаги остановились у двери.

Кикимора ждала, что дверь откроется. Что в щели появится его плечо, мокрое от мороси, что он толкнёт дверь, войдёт, пригнувшись под низкой притолокой, увидит миску, увидит Любаву в чистом платке, увидит накидку. Она ждала этого так, как давно ничего не ждала.

Дверь не открылась.

Щель оставалась щелью. В ней было серое небо и угол ограды. Никого.

Кикимора посмотрела на Любаву.

Любава стояла у очага, вполоборота, и смотрела не на дверь. Она смотрела в западную стену. Туда, где за стеной был спуск к берегу и вода. Она смотрела туда, как смотрят

на дверь, в которую вот-вот войдут, — подавшись вперёд, затаив дыхание, с полуоткрытым ртом, — и руки у неё были прижаты к животу.

Кикимора поняла: Любава тоже слышала. Но не здесь, не у двери. Там. Со стороны воды.

Потом она посмотрела на восток.

Постель хозяина отсюда видна была плохо — через весь дом, сквозь дым, за столбами. Но кикимора всё ещё держала там нитку, тонкую, под настилом, и через неё чувствовала: узкая вмятина у стены стала глубже. Покрывало легло плотнее. Кто-то там устроился — днём, при свете, хотя днём там никогда никого не было. Устроился, лёг на бок, лицом к восточной стене, прижавшись к ней. Как ложатся, когда ждут, что сзади сейчас ляжет другой и обнимет.

Три стороны. Три разные стороны дома. Каждая слышала его со своей.

А дверь так и не открылась.

* * *

Любава опомнилась первой.

Женщина вдруг вздрогнула, как от холодной воды, и опустила руки. Посмотрела на миску на лавке. На свой платок — потрогала его, будто не узнавая. Лицо у неё стало сначала растерянным, потом красным, потом белым.

Она сорвала с головы полотно. Бросила на жердь — комком, не расправив. Взяла с лавки миску, его миску, и поставила обратно на полку, рывком, так, что та стукнула о дере-

во. Потом пошла к стану. Взяла цевку с утком. Руки у неё тряслись так, что цевка дважды выпала.

Кикимора не показалась ей. Она лежала тонкой ниткой в бахроме накидки и думала об одном: только бы Любава не заметила, как ровно лежит бахрома. Только бы никто не понял, что она, кикимора, ждала. Это было стыдно, стыднее всего, что с ней случалось. Стыднее, чем когда хозяйка в старом доме застала её за пряжей и выплеснула на кудель помои.

Она растрепала бахрому. Нарочно, понемногу, чтобы было не слишком заметно. Чтобы выглядело, как будто никто её не трогал.

На восточном конце вмятина у стены медленно разгладилась. Так разглаживается мокрый песок, когда уходит волна.

Ульф вошёл в дом через какое-то время, с вёдрами, весь в соломе. Посмотрел на Любаву за станом — она ткала, низко склонившись, — на очаг, на полку. Ничего не заметил. Сказал что-то, зачерпнул воды, выпил и ушёл обратно. Ему никто не мерещился у двери. Он ничего не ждал.

* * *

Хозяин вернулся в сумерках, когда Любава уже зажгла светильник. На этот раз — настоящий: дверь распахнулась, впустила холод и запах мокрой листвы, и он вошёл — пригнувшись, с мешком на плече, мокрый до нитки. Мешок был полон. Сбросил его у двери, выпрямился, потёр левую ключицу.

— Дождь, — сказал он. — Не ждали?

Он спросил это просто. Как спрашивают, когда вваливаются мокрыми в дом и видят, что ужин не готов. Но кикимора увидела, как Любава у стана на мгновение перестала дышать.

— Не ждали, — сказала Любава, не поднимая головы.

— Правильно.

Он стащил с себя рубаху — мокрую, тяжёлую, облепившую плечи, — и повесил на жердь у очага, рядом со своей накидкой. Остался голым по пояс у огня, грел руки.

И кикимора увидела его тело.

Она видела мужские тела и раньше — у неё в домах мужики мылись, переодевались, болели. Это было крепкое тело, немолодое, в старых шрамах, как у всякого, кто много ходил с оружием. На правом боку, на рёбрах, на животе — белые, давно затянувшиеся рубцы. Она не стала их считать; ей было не до того.

Её внимание взяло другое. Под левой ключицей, там, где он всё время тёр, была рана.

Не шрам — рана. Узкая, в палец длиной, похожая на шов, который разошёлся. Края у неё были сухие, светлые, будто кожа давно пыталась срастись и всё никак не могла, — и внутри, в самой глубине щели, при свете очага поблёскивало что-то бледное, тугое, как натянутое сухожилие. Крови не было. Гноя не было. Рана не была свежей. Но и старой она не была.

Так не бывает, подумала кикимора. Она знала тела по тому, как они изнашивают одежду, — и знала, что так не изнашивается ничего. Рана, которая не заживает и не гниёт, — это как дыра на рубахе, которая не расползается и не стягивается, сколько бы времени ни прошло.

Кажется, была и ещё одна такая щель — правее, у самой грудины. Кикимора не успела разглядеть.

Хозяин заметил, что на него смотрят, — не кикимору, конечно: Любаву, которая глядела исподлобья, через нити основы. Он не прикрылся. Сказал:

— Старое. С дороги. Не заживает в сырость.

И отвернулся к огню.

Ночью, когда все уснули, кикимора подползла к его рубахе на жерди. Рубаха почти высохла от очага — тёплая, пахнущая дымом и им. Кикимора тронула её изнутри, по шву. Ткань была тёплой везде.

Кроме одного места. Под левой ключицей, там, где на полотне была грубая старая починка, там, где рубаха прилегала к ране, — ткань была холодной. Не сырой — холодной. Как будто к этому месту, на сушке, у самого огня, всё ещё что-то прикладывали изнутри.

* * *

Наутро Ульф взял Любаву на берег.

Ему надо было проверить вершу — плетёную ловушку на рыбу, которую он ставил у камней за мысом. Одному ему управляться с лодкой было тяжело из-за пальцев: грести мог,

а вязать и отвязывать — едва-едва. Он показал Любаве рукой: пойдём. Она пошла. Мешок взяла с собой, как всегда, — привязала к поясу, — и кикимора поехала с ней.

Берег был недалеко. Шагов семьдесят вниз по тропе от двери, сначала через двор, потом в проход в ограде, потом под горку, скользкую от вчерашнего дождя. Внизу — маленькая заводь, прикрытая с двух сторон камнями, тихая, серая. У самой воды лежала лодка, вытащенная носом на гальку. Небольшая: двое сядут, трое — тесно. Весло лежало в ней, вдоль борта. Второе, запасное, было засунуто под нос.

От носа лодки к большому камню тянулась верёвка.

Ульф подошёл к камню и показал Любаве узел. Показал, не развязывая: вот. Потом медленно, очень медленно, двумя кривыми пальцами потянул за один конец — короткий, — и узел распался сам, верёвка соскользнула с камня.

Любава смотрела.

Он завязал снова. Протянул ей: давай.

Она взялась за длинный конец. Потянула. Узел затянулся намертво.

Ульф покачал головой, без раздражения — так качают головой над ребёнком, который делает то же, что делал ты в его годы. Развязал, кряхтя. Завязал снова. Показал на короткий конец, потом разжал пальцы — отпусти. Короткий. Только короткий.

Любава потянула короткий. Узел распался.

Она улыбнулась. Первый раз — кикимора заметила —

первый раз за всё время здесь она улыбнулась наяву.

Потом Ульф показал ей весло. Как его брать: одну руку сюда, другую сюда. Как сесть. Как оттолкнуться от камня. Потом они сели в лодку — Ульф на нос, Любава — на корму, с веслом — и она гребла до верши у камней за мысом, неуклюже, с брызгами, а Ульф показывал руками: левее, правее, тише. Обратно она гребла ровнее.

Кикимора сидела в мешке, на её поясе, и смотрела через горловину на воду. Вода была широкая, серая, гладкая. Залив уходил на юг, к другому берегу, низкому, в перелесках. Там, на том берегу, далеко, поднимался тонкий дым.

Любава тоже смотрела на этот дым. Долго.

Вернувшись, она сама привязала лодку. Длинным концом к камню, коротким — наружу. Ульф проверил и кивнул.

Кикимора подумала тогда: это просто работа. Ульфу нужны руки, Любава — руки. Вершу проверить. Рыбу принести. Ничего больше.

Она подумала так потому, что ей хотелось так думать. Потому что, если это было больше, чем работа, — если Любава учила узел не для верши, — значит, мешок однажды уплывёт в этой лодке на тот берег, к тонкому дыму. А в мешке поплывёт она.

А хозяин останется здесь. С тем, что лежит у стены.

* * *

Вечером Любава пекла хлеб.

Мука в доме была ячменная, тёмная, крупного помола.

Любава замесила её на воде с остатком закваски, что нашлась у Ульфа в горшке, — и пекла лепёшки: небольшие, с ладонь, плоские, на каменной плите, которую ставили прямо на угли. Так пекла её мать. Так пекли все, кого она знала. Тесто шипело на камне, края поднимались, и в доме впервые с того дня, как горел двор, запахло так, как пахло дома.

Ульф пришёл на этот запах из хлева и сидел на лавке, глотая слюну.

Любава переворачивала лепёшки пальцами. Быстро, привычно — подцепить край, перекинуть, отдёрнуть руку. Дома она делала это без счёта. Но плита здесь была другая, чужая, грела сильнее, чем она привыкла, — и на шестой лепёшке она не успела отдёрнуть.

Ожгла указательный палец правой руки. Подушечку и сбоку, до первого сустава.

Она не вскрикнула. Зашипела сквозь зубы, сунула палец в рот, потом в ковш с холодной водой. Держала там долго, морщась. Потом вынула, посмотрела. Палец покраснел, вздулся, на подушечке поднялся белый пузырь.

Кикимора выползла из овчины.

Она знала, как с этим быть. Видела много раз. Обожжённое надо закрыть, чтобы не тёрлось, и перетянуть потуже, чтобы не дёргало. Она вытянула из себя длинную тонкую нитку — мягкую, серую, свою, — подползла к руке Любавы, свесившейся с колена, и обмотала палец. Туго. Виток к витку, от ногтя к суставу.

Любава посмотрела на палец. Потом на неё.

— Не надо, — сказала она.

— Так надо. Чтоб не тёрлось.

— Больно так. Туго.

— Потерпишь.

Любава взяла кончик нитки двумя пальцами левой руки — и размотала. Медленно, виток за витком, морщась, но до конца. Положила нитку на овчину перед кикиморой.

— Я сказала — не трогай. Меня не трогай.

Кикимора смотрела на свою нитку, лежащую на шерсти, — смятую, ненужную. Она вынесла этой женщине иглу из огня. Она хотела как лучше. Она знала лучше.

— Ну и ходи так, — сказала она.

— И буду.

Любава доела свою лепёшку левой рукой. Правую держала на колене, ладонью вверх, отставив указательный палец, будто он был чужой. Хозяин пришёл, когда хлеб уже остыл. Взял лепёшку, съел стоя, посмотрел на палец. Ничего не сказал. Достал откуда-то с полки горшочек с жиром и поставил рядом с Любавой. Ушёл.

Любава подержала горшочек. Потом открыла и помазала палец.

Кикимора видела это. И видела, что от него — взяла.

Она уползла в овчину. Нитку свою, отвергнутую, втянула обратно в себя, всю до кончика, — не оставлять же. Потом долго лежала, чувствуя, как Любава засыпает над ней: на бо-

ку, лицом к стене, отставив больной палец поверх покрывала, чтобы не задеть.

В ту ночь та, у стены, не пришла. Любава спала до утра.

Глава 6. Чужая работа

Рубаху он принёс сам.

Это было на восьмой день, утром, когда Любава стояла у стана и ткала, а за дверью шёл мелкий холодный дождь. Хозяин подошёл, держа рубаху в руках, — ту самую, с грубой починкой под левой ключицей, — и протянул ей.

— Разошлось, — сказал он. — Починишь?

Любава посмотрела на рубаху. Потом на него. Кикимора из овчины на настиле видела, как женщина медлит, — не от нежелания: так медлят, когда знают, что сделанное потом не возьмёшь назад.

Она отошла от стана, села на край настила и развернула рубаху. Изнанкой к себе.

Старая починка разошлась совсем. Кто-то когда-то стянул здесь дыру крупными стежками, толстой шерстяной ниткой, наспех, по-мужски, — и стежки прорезали полотно, как бечёвка режет мягкий воск. Края дыры размахрились. Ткань вокруг истончилась, стала прозрачной, как старая береста. Под этим местом, кикимора знала, у него была рана. Та, узкая, которая не заживает.

Любава провела пальцем по краю дыры. Осторожно, не касаясь, обошла самую середину — будто знала, что там болит.

— Чем чинили?

— Не помню, — сказал он. — Тем, что было.

— Шерстью. Толстой. Она трёт. — Любава подняла на него глаза. — Тебе тут больно от неё?

Он помолчал. Кикимора ждала, что он скажет «нет», — мужчины всегда говорят «нет».

— Трёт, — сказал он.

Любава кивнула. Положила рубаху на колени. Хозяин достал из-за пояса моток — такую же шерсть, толстую, серую, — и протянул ей.

— Вот.

Она не взяла.

— Этим нельзя. Опять прорежет.

— Другого нет.

Любава посидела, глядя на моток в его руке. Потом нагнулась, развязала мешок, сунула туда руку — кикимора почувствовала, как пальцы прошли мимо лоскута, мимо иглы в тряпице, — и вынула свою нитку.

Моток льна с кулак величиной. Тот, что она ссучила дома сама, из своего льна, — тонкий, крепкий, ровный, чуть желтоватый. Кикимора помнила, как Любава сучила его прошлой зимой — вечерами, у лучины, вместо того чтобы спать. Помнила, как она пересчитывала мотки весной, укладывая их в короб, — те, что на обмен, и те, что для себя. Этот был для себя. Его она в тот день и схватила, когда горел двор: не обменный, а свой.

На дороге она пересчитывала его каждую ночь. В этом до-

ме — каждое утро. Кикимора догадывалась зачем: если идти, нужна нитка. Чинить в пути, зашить порванное, обменять на хлеб, в конце концов. Свой лён. Последнее своё.

Любава отмотала от него длинную нить. Откусила. Вдела в иглу — в свою рабочую, костяную.

Хозяин смотрел.

— Это твоё, — сказал он.

— Моё.

— Береги.

— Тебе тут трёт, — повторила Любава, не глядя на него. — Этим не будет.

Он постоял ещё. Потом сказал:

— Спасибо.

И ушёл к двери, к дождю.

Кикимора смотрела, как Любава шьёт. Как сначала выпарывает иглой старые стежки — бережно, по одному, чтобы не порвать то, что осталось. Как подкладывает с изнанки заплату из своего лоскута, материнского, — того, что берегла на заплаты, — и примётывает её мелко-мелко. Как кладёт сверху, по краю дыры, свой шов — частый, плоский, мягкий, чтобы не тёр. Правый указательный палец у неё ещё был замотан тряпицей, и она держала иглу иначе, чем привыкла: между большим и средним. Стежки от этого выходили чуть крупнее, чем у неё бывает. Но шли.

Это была хорошая работа. Кикимора знала толк в работе. Так шьют тому, кому не хотят боли.

К полудню половина шва была готова.

Тут со двора позвал Ульф.

* * *

Серая корова опять застряла — забилась в угол хлева, прижала Ульфа к перегородке, не давала доить. Ульф кричал что-то сердитое, звал. Хозяина не было: он ушёл по берегу к верше. Звать больше было некого.

Любава вздохнула. Воткнула иглу в полотно рядом с последним стежком. Оставила нитку висеть — длинный хвост, в локоть, тянущийся от шва. Свернула рубаху так, чтобы хвост не спутался. Положила на настил рядом с мешком.

Потом наклонилась к мешку и сказала — тихо, но так, чтобы было слышно:

— Не трогай. Слышишь? Это моё. Я сама доделаю.

Кикимора не ответила.

— Слышишь? — повторила Любава.

— Слышу, — сказала кикимора из овчины.

Любава постояла ещё мгновение, будто хотела сказать что-то ещё. Не сказала. Ушла.

* * *

Сначала кикимора просто смотрела.

Рубаха лежала рядом, на расстоянии нитки. Свёрнутая, с хвостом, с иглой. Шов был наполовину сделан — частый, ровный, хороший. Почти хороший. В одном месте, недалеко от начала, — там, где Любава только приноровилась к обожжённому пальцу, — три стежка легли неровно. Один вылез

чуть выше других. Второй был туже. Третий — с узелком, где нить перекрутилась.

Кикимора видела эти три стежка так, как человек видит соринку в глазу у другого: сразу, неотвязно, с зудом в пальцах.

Она могла их не трогать. Никто бы не заметил. Любава бы заметила — Любава всегда всё замечала, — но потом. И сама бы поправила.

Он бы заметил.

Эта мысль пришла сама. Кикимора её не звала. Он наденет рубаху. Он проведёт пальцем по шву, как провёл тогда по недоуздку, — он всё ощупывает пальцами, — и палец споткнётся на этих трёх стежках. И он подумает: криво. И не подумает: хорошо сделано. И не скажет. Ничего не скажет.

Только три стежка, решила кикимора. Только поправить. Это не работа, это — так. Это даже не трогать.

Она вылезла.

Подтянула рубаху к себе, развернула. Нашла три стежка. Распустила их — тонко, кончиками пальцев, как никакая человеческая рука не распустит, не повредив соседних, — и положила заново. Ровно. В линию. Так, что их нельзя было отличить от тех, что Любава положила раньше и лучше.

Потом посмотрела на остальной шов.

Половина оставалась несделанной. Края дыры ещё висели, заплата была приметана только по одной стороне. Любава вернётся неизвестно когда — с коровой это бывало надолго.

Хозяин вернётся раньше. Он увидит рубаху — недошитую, с иглой, с хвостом. Увидит половину работы.

А если вторая половина будет готова?

Кикимора взялась за нить.

Игла была ей не нужна: она провела нить через полотно сама, собой, протолкнула туда и обратно, туда и обратно. Она шила так, как шила всю свою жизнь, — по ночам, в чужих избах, пока хозяйки спали, — только раньше она путала, а теперь сшивала. Стежок, стежок, стежок. Мельче, чем Любава. Ровнее, чем Любава. Так ровно, как не шьёт человеческая рука, потому что человеческая рука устаёт и дрожит, а кикимора не устаёт и не дрожит никогда.

И в каждый стежок она вплетала немного себя.

Одно волоконце. Серое, тонкое, своё. Скрутив с Любавиной ниткой, чтобы шло вместе, как одна. Так она осваивала вещь — так она входила в неё, чтобы потом чувствовать её изнутри: кто надел, как сидит, где трёт. Она делала это во всех домах, где жила, со всем, что ей нравилось. Только раньше это были веретёна, кудель, полотенца. Никогда — мужская рубаха.

Она прошила почти до конца. Оставила самую малость — край в два пальца — и хвост. Остановилась, потому что поняла: если дошить всё, Любава скажет, что её работу украли. А если оставить край — можно будет сказать, что только помогала.

Она легла обратно в овчину и стала ждать.

Шов лежал на настиле, наполовину Любавин, наполовину её. Кикимора чувствовала его весь, от первого стежка до последнего: Любавину нить, тугую, льняную, тёплую от рук, — и свою, серую, вплетённую в неё. Две нитки в одной. Она лежала и думала, что это хорошо. Что так даже лучше. Что Любава поймёт.

* * *

Любава не поняла.

Она вернулась, когда уже темнело, с ободранной рукой — корова всё-таки задела её рогом — и сразу подошла к рубахе. Развернула. Посмотрела на шов. Взгляд её дошёл до середины и остановился.

Она смотрела долго. Потом провела пальцем — левым, не обожжённым — по новым стежкам. От середины к концу. Палец не споткнулся ни разу.

— Вылезай, — сказала Любава.

Кикимора не вылезла.

— Вылезай. Я знаю, что ты слышишь.

Кикимора вылезла. Села на край овчины, маленькая, серая, и сложила длинные пальцы.

Любава держала рубаху на коленях.

— Я сказала — не трогай.

— Криво было, — сказала кикимора.

— Где?

— Вот. — Кикимора показала. — Три стежка. Ты пальцем не так держала.

Любава посмотрела на место, куда показывали. Стежки там лежали ровно. Она не могла видеть, какими они были. Но знала, какими они были, — кикимора поняла это по её лицу.

— Криво было — моё, — сказала Любава. — Моя работа. Криво — значит, я криво сделала. Я бы поправила.

— Он бы заметил.

Любава замолчала. Кикимора сказала это и тут же пожалела: слишком быстро сказала, слишком громко. Не так надо было.

— Кто бы заметил? — спросила Любава.

Кикимора не ответила.

— Он? — Любава смотрела на неё внимательно, как смотрела на изнанку чужой ткани, прежде чем шить. — Тебе какое дело, что он заметит?

— Дом его. Вещь его. Всё должно быть как надо.

— Ты в его доме неделю живёшь.

— Восемь дней.

Любава посмотрела на неё ещё. Кикимора терпела этот взгляд и чувствовала себя так, как чувствует себя нитка, которую рассматривают на свет: насквозь.

— А дальше? — спросила Любава. — Ты дальше бы дошила. Почему не дошила?

— Тебе оставила.

— Мне оставила. — Любава засмеялась, коротко и нехорошо. — Мне. С моей ниткой. В моей работе. Мне оставила.

Она подняла рубаху ближе к свету. Посмотрела на шов, на новые стежки.

— Ровно, — сказала она. — Лучше меня. Я так не умею. Спасибо.

Кикимора ждала, что сейчас будет «но». «Но» не было. Любава просто сложила рубаху, взяла иглу, вынула её из полотна — и не стала шить дальше. Хвост нитки оставила висеть, как висел. Не обрезала, не завязала узлом. Положила рубаху поверх мешка.

— Завтра доделаю, — сказала она. — Сама.

И легла на свой настил спиной к кикиморе.

Кикимора просидела так долго. Ей сказали «спасибо» — третий раз в жизни, и второй раз от этой женщины. Тёплым из трёх было одно — его. А это было таким, каким бывает лёд на ведре по утрам: гладким и ничего не пропускающим.

Она понимала, что сделала. Она нарушила просьбу. Просьбы людей она нарушала всю жизнь — это было её дело, её природа. Но раньше люди её не просили. Раньше они её гнали, задабривали, ругали, — а эта попросила. Прямо, как просят соседку: «не трогай, это моё». И она не послушалась.

И ради чего?

Кикимора знала ради чего — знала, ещё когда клала первый стежок. Ради того, чтобы он провёл по шву пальцем.

* * *

Он провёл.

Вечером, после еды, он подошёл к Любавиному настилу

и спросил, готова ли рубаха. Любава сказала: «Завтра. Край остался». Он сказал, что другая его рубаха мокрая с берега и пахнет хлевом, а в этой — дыры больше нет, края держатся, — можно до утра в ней, а утром она доделает. Любава подумала и отдала. Сама развернула, сама показала, где хвост нитки, — смотри, мол, не оборви, не зацепи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.